

НАБИ БАЛАЕВ

Наби Балаев – философ и критик, автор трактатов «Мамардашвили и время» (2010), «Поэт и время» (2014).

Помимо научных публикаций (их около 20), публиковался в журналах «Новая Польша», «Литературная Пермь», «Сетевая словесность» и т.д.

Родился в селе Ититала Балакенского района Азербайджанской ССР (1962), окончил школу-интернат №8 в Баку (1979), Пермский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и права» (1989). Работает старшим преподавателем на кафедре философии в Пермской государственной фармацевтической академии.

В народе говорят: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется». Если даже их отделяют океаны, истории, культуры, языки, они, как это ни удивительно, встречаются на острие абсолютно индивидуального поиска, – желая знать лично и олицетворять опыт преемственности и развития. Тут параллельные пересекаются (!).

Такая духовная встреча с Чеславом Милошем произошла у меня, и эта встреча имела определенные последствия. Мне был интересен опыт абсолютно чистого описания ситуации, когда Зло одевается в твой образ и ты – лишь окровавленный свидетель собственной смерти... (смотри, например, **его** «Ангел смерти» в переводе Дубина).

(Смерть приходит в любимом костюме, чтобы мы не испугались. Обнаженная смерть... «История» – кровавая рубашка...)

И я послал плоды внутреннего диалога с **ним** – как знак некоторой духовной услышанности («Дитя Европы») – в Беркли по электронной почте.

Вот что Милош ответил из Кракова:

29.08.2000

Dear Nabi,

through forests and valleys your voice reached me in Krakow.

Thank you for your poems.

Czeslaw Milosz.

«КАТАСТРОФИСТ НА ПЕНСИИ...» ИЛИ СТРАСТИ ПО ЧЕСЛАВУ МИЛОШУ

(ФИЛОСОФСКИЕ ШТРИХИ К ПОЭТИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ)

1

«Катастрофист на пенсии», чувствовавший свое время в общем безвременье, где дети смерти и перевертышей сами себя не различают и куют монументы собственных плах. И пытающийся обозначить контуры собственного существования и раздумья, по пути подыскивая предшественников и последователей такого нелегкого бремени...

Как поэт – он смертный свидетель времени, оглянувшийся на прошлое и на будущее как настоящее око, как око настоящего во времени...

Видел он Польшу между двумя чудищами и, разглядывая в исторической топке ее сыроватость, ее оброслость мхом лени, ржавчиной идейной и безверием – не смотря на свое христианство, глубоко вздыхал и разряжался громом катастрофизма.

Христианин на пенсии, он и тогда был – судя и по ранним произведениям – молодым пенсионером сугубого времени, в котором он различал, **что** принадлежит историческому времени, **что** безвременью и антигероям.

Литература измеряется объемом реальности, выраженным словами.

Как поэт олицетворяет время, становится его образом, лицом, словом, какие соблазны и трудности предостерегают его на этом пути, какое наследство получено и какие обязанности и перспективы предстают перед ним, – тем более в «другой Европе», – все это незыблемым образом предъясвляет счет читателю и исследователю наследия Милоша.

Поэт перед лицом времени узнает себя, раскусывает темя самовыражения, очерчивая границу возможного и невозможного, предстает каким-то образом этой связи, парадоксальностью, к которой невозможно привыкнуть...

Милош и время, что памятно и смертно, а что тянется, как кусок непережитой жизни, как комок в горле застрявший...

Черта великих поэтов – принять мир как таковой и его формы... Принять, например, и «другую Европу» как свою, описывая внутреннюю драматургию распада и бурю сопротивления, кровь жертв и слезы свидетелей... А также немых свидетелей, глядящих – как они вне времени славы и позора...

Опыт Милоша примечателен как опыт уцелевшего катастрофиста, дожившего до «пенсии»... Как он понял характер времени и определил задачи гражданина и поэта... Характер исторической ситуации и иллюзии современников (не важно, откуда пришедшие и как они называются), которые перед лицом катастрофы, в лучшем случае, как Виткевич, могли порезать себе вены...

В самой литературе видя черты раздробленного времени, черты все больше проступающих мутантов – языков, черты анаболического слова, разряжался «нобелевскою речью», чтобы предупредить...

Поэт – для которого время не существовало само по себе, а могло существовать лишь как продукт «жажды видеть и желания описывать». Что еще надобно поэту? Большее требовать – себя не уважать (служенье истине – не терпит суеты).

Как он анализирует источники своего сопротивления в самих польских современниках, ищет всходы исторических попыток, этих распятых душ саможертвования – посредии христианского спасительства и жерновов контрмира. Поди озирайся, огляди завещанный камень безразличия и мудрости, и держись в пути – между сгорающими в гетто и гордящимися этим...

2

Милош, Милош... между душою и смертью карабкался на гору, как на дорогу. Вздыхающиеся лица времени узнавали твою легковесность, зоркость и ясность ума (местами прощая солипсизм). Узнавали и прощали твой расчет, твою попытку воздать и назвать другую Европу тем, что она есть, твоим пристрастиям, описаниям клеткота бездарного труда. Материя подменялась, кривлялась, сопротивлялась, но твои «Песенка о конце света», «Дитя Европы» и «Видение, достойное Сведенборга» исчерпывали тему. Все было узнано, названо и представало в великолепных ризах и лохмотьях.

Игроки литературного поля, гоняющие мяч филологии, экспериментаторы филологических перетасовок, дети смердящего языка, этого разлагающегося трупа, должно быть, помнят и трепещут – и навечно на это обречены – перед твоей «возможностью видеть» и «способностью описать».

3

Поэзия, язык, глухое слово... – ком не услышанной, неназванной жизни. Представьте себе, что язык, например, вообще соткан из «ахов» и «охов», брезгливого брюзжания тех, кто и собственного имени-то не знает...

История не вошла в их топос, не предстала увиденной реальностью и не расставила точки над «і», назвав вещи своими именами и расширив горизонт виденья и наследования, или, скажем, соединяя отсвет Сафо с лирическим голосом Ахматовой, – только скрип и всхлип... Трупный запах отравляет саму возможность аппетита слова...

4

Развалины мира на сопливых надеждах его обитателей, чертыхающихся сырыми, непереваренными вздохами и выдохами – «ахами» и «охами». Глядя в глаза действительности, расшифровывая памятки и веточки роста (предстающие удивления), морщащиеся, смущающиеся, соблазняющиеся ленью подражания – вся эта полулежащая интеллигентщина – должно быть на километр не переваривает дух Милоша, этого гиганта незаметных мгновений... Между прочим живя, между «адам» и «раем» Европы, и не доверяя ни тому, ни другому, на свой страх и риск раскладывающий и разгадывающий карты собственной поэтической судьбы, судьбы художника неизвестной Родины... Судьбы выпавшего свидетеля. Жажда видеть и желание описывать... В этих искорках самосознания упаковано его мироощущение поэта – гражданина Европы или Мира.

Мир, разглядывая это зеркало собственной идентичности, должно быть, узнает собственную кривую рожу, раздосадованно принимая эту зоркость катастрофиста:

*Я теперь – катастрофист на пенсии,
Меня уже ничего не спугнет,
Ни гиганты павших империй,
Ни стены собственного дома.*

*Длинная дорога моя подруга.
И низкие выси собственных улиц
Мне служат тропинкою для Бога
И для распознавания собственных лиц...*

*Я теперь уже катастрофист на пенсии,
Ничего не удержит меня от жизни,
И жизнь для меня – не облик Венеции,
А родного Вильно кривизны...*

*Картавый облик родственной речи,
Что порой до Земли достает,
И, как пощечина народных наречий,
Из сердца болью встает, –*

*Предсказывает порой разговоры,
О войнах, о жизни и смерти,
И ведет с судьбою переговоры
О том, о сем – на что похожи черти...*

*Я теперь катастрофист на пенсии,
И судьба больше не спугнет,
Я словно Дант – из Флоренции,
И Европа – по-прежнему – живет...*

5

Уверенности католической Европы добавил – если не сказать – противопоставил – поэтическое сомнение, и слогом самодостаточного языка свидетельствовал о картинках рая и ада. Оказавшись между «раем» и «адам» Европы, не возлюбив ближнего своего, да и врагов тоже, милостью строптивного студента ухайдакивал тропы, кем-то завещанные: как то Симоной Вейль или Милошем предыдущим (Оскар Милошем). Разгребая мусор душ, наблюдая над горизонтом сцепившихся кривых рож, за этой историей пожираний, с холоднокровием – нет, не сектанта и не богослова, и не картавого интеллектуала, сопливо размазывавшего по стенам собственной слепоты слюни недоумения – с холоднокровием мужественного стоика, обладающего оружием победы над этим безумием, над этим «порабощенным разумом»... «Мир», расхожий образ дегенератов, заместивших сами знаки реальности и пытающихся вообще отменить реальность – в каких бы формах она ни проступала.

Поэты плоскодушные, трепыхающиеся и жующие собственное жало вместо того, чтобы владеть языком как формой, спекулятивно экспериментирующие филологическими охапками мертвых слов. Должно быть, позор и гнев вскипал в душе Милоша перед лицом состоявшихся величин и низостью душ, замарывающих само призвание Поэт. И терпеливым великодушием, соразмерностью частной вселенной, способной представить на кончике пальца всю мировую литературу, и ракурсом всевидца делился открывающимся образом слова. Дитя Европы, читатель Декарта, – тоскливой интонацией по упущенным возможностям. Модернист (то есть современник вечности), утверждающий, что он – антимодернист (тут мы могли бы предъявить историко-этимологические претензии к прозаическому стилю Милоша, когда думаемое не совсем совпадает с формой выражения того, что думается), а в целом – соразмерное око времени, запечатлевшее историческую суть как человеческой драмы как таковой, так и трагической формы этой драмы в XX веке.

«Другого конца света не будет...»

*«Старая Европа» сошла с ума,
Да и «Новая» тоже...
Похоже, их обеих поглощает идейная тьма, –
Мороз по коже!
Картавым интеллектуалам трепаться еще долго,
Священникам – умалчивать жизнь и гладить по голове,
И позабывшим, что они были детьми Бога,
Молвить тоску и рыдать напереправе.
Река жизни уходит в облака...
И помнящим, откуда дорога,
Может показаться – как свет издалека –
Живая божественная тревога.*
